

Дмитрий Бураго

ПРОРОЧЕСКОЕ ВОЗВЕЩЕНИЕ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ И СЕНЫ МЕРЕЖКОВСКИЙ И ГИППИУС В ДНЕВНИКОВО-МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

У статті розглядається рецепція російською, переважно – емігрантською громадськістю, суспільної діяльності подружжя Мережковських, які самі трактували останню як місію утвердження Третього Завіту: мова йшла про поновлення християнської традиції. Автобіографічні матеріали та спогади про Мережковських величезні за об'ємом та непогано вивчені. Але все ж таки тут виявляються не до кінця прояснені аспекти (концепція письменника як Учителя «глаголом жгущего сердца людей», проблема Поета і суспільства та ін.). Загальна та поверхова думка полягає в тому, що письменники вони слабкуваті, і про поетичне горіння духу тут годі й говорити. «Проповідь» Мережковських взагалі часто ігнорується. Весь цей багатий та драматичний матеріал використовується частіше за все в рамках вивчення письменницької біографії або ж як ілюстрація до історичних подій, хоча в ньому яскраво і точно закарбувалася ще й величезна панорама перед- і постреволуційного соціально-духовного сум'яття в російському суспільстві, покручені долі діячів культури.

Ключові слова: місія письменника, Третій Заповіт, дім, оселя.

«Не дело поэта мешаться в мирской рынок»
(Н. В. Гоголь)

Чета Мережковских, их личный быт и творчество, формально должны были бы рассматриваться в контексте жизни русской эмиграции, но все дело в том, что на берега Сены переселились двое связанных супружескими узами писателей, вполне сложившихся духовно на берегах Невы. Более того, свою миссию в эмиграции они рассматривали как трансплантацию именно русских, Западу уже достаточно мало внятных ценностей. Речь шла в основном о христианской традиции и возможностях ее обновления. Мережковских нельзя мыслить в одном ряду с достаточно секуляризированной, лишь моментами вспоминающей о Боге и церкви Тэффи лишь на том формальном основании, что все трое стали эмигрантами. Мы пишем не досье. И скорее уж, при всей не-ортодоксальности духовной позиции Мережковских, они видятся рядом с такими фигурами, как эмигрант Бунин и оставшаяся на своей многострадальной родине Ахматова.

Цель данной статьи – анализ восприятия и отторжения общественностью «проповеди» Мережковских и постепенной маргинализации их писательских личностей в контексте панорамы пред- и постреволуционной социально-духовной сумятицы в русском обществе.

За истекшие несколько десятилетий наследие Мережковского и Гиппиус, в частности – мемуарно-дневниковые материалы, изучено весьма пристально. Это книги Е. Андрущенко, И. Арзамасцевой, С. Бельчевичен, О. Волкоговой, А. Ваховской, О. Дефье, П. Епифановой, Ю. Зобнина, Е. Корольковой, О. Михайлова, Я. Сарычева, В. Хрисанфова, Н. Щербак и др.

Если же об автобиографической прозе («Мережковские о...» и «О Мережковских») говорить более сосредоточенно, то она уже сама по себе весьма обширна. И поэтому мы, учитывая объем данной работы, сознательно ограничиваемся весьма малым, но и весьма репрезентативным материалом, который описан библиографически. В частности, в автобиографической прозе Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, равно как и в воспоминаниях о них, явственно запечатлена последовательно развертываемая обоими литераторами концепция писателя как Учителя, «глаголом жгущего сердца людей». В соответствующем ракурсе дана и эпоха: та же, скажем, «Синяя книга» З. Гиппиус, по верному мнению Н. Берберовой, «не будет забыта. Она принадлежит к числу исключительных документов исключительной эпохи России (1914-1920) и бросает яркий (и безжалостный) свет на события, потрясшие мир в свое время» [12, с. 335]. Между тем весь этот богатый и драматический материал используется чаще всего в рамках изучения писательской биографии или же как иллюстрация к историческим событиям, хотя в них ярко и точно запечатлелись еще, и огромная панорама пред- и постреволуционной социально-духовной сумятицы в русском обществе, и искореженные судьбы деятелей культуры. Именно этот ракурс ситуации нас тут интересует.

На рубеже XIX-XX столетий Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус были столпами литературного истеблишмента. Уже по праву рождения Д. С. Мережковский, рожденный в Елагином дворце в семье придворного сановника, унаследовал высокий социальный статус. Своей семьей Мережковские зажили в Петербурге, после недолгого пребывания в Крыму, в знаменитом Доме Мурузи против Летнего сада, и благополучно обитали здесь целых двадцать три года. Не станем здесь вдаваться в пересуды о не-простоте их супружеских отношений, но у каждого из них были собственная спальня и кабинет. Покоя и духовного простора было вдоволь.

Важно другое: с первых своих шагов в литературе Мережковский и Гиппиус пользовались прочной репутацией талантливых поэтов, стремящихся прочь от житейской пошлости.

Мережковский – еще совсем молодой человек – характеризуется в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона» как «известный поэт». Для него реальность изначально была некой фата-морганой: он воспринимал действительность как некую призрачность, сон неприкаянной души:

... Умру, как пламя фонарей,
Как бледный призрак, порожденный
Туманом северных ночей.

(Д. С. Мережковский, 1889)

О поэзии Гиппиус, скандально прославившейся стихом «Я хочу того, чего нет на свете», восторженно отзывался И. Анненский, поместив в «Аполлоне» рецензию на ее «Собрании стихов» (1904), в которой были такие строки: «Я люблю эту книгу за ее певучую отвлеченность».

Не следует забывать, что в свое время именно Мережковский поднял волну общественного интереса к поэзии, почти утратившей в глазах читателя былое влияние. В своей известной ранней лекции «О причинах упадка и о новых течениях современной русской культуры» он призвал к преодолению «мертвенного позитивизма» и предлагал положиться на одухотворенность символов, говорящих об окружающем мире неизмеримо больше и точнее.

И даже когда Мережковский, обнаружив, что его стихи теряют популярность, уходит в мир прозы, требующий, как известно, «мыслей и мыслей», он остается по своему мироощущению все тем же поэтом-символистом, для которого реальность – всего лишь «кусочек жизни, грубой и бедной», материал для «прекрасной легенды» (Ф. Сологуб). А его проза свидетельствует о серьезных сдвигах жанрового канона. Ведь тут, во-первых, стерты границы между художественным и риторическим; современность и история берутся лишь как материал для доказательства истинности метафизической схемы. Во-вторых, если взять в расчет синтетичность природы романа, в котором соединены воедино эпический, драматический и лирический регистры, то каждый его роман – это еще и как бы некоторая лирическая цельность, некий «плач о Юлиане», «плач о Леонардо» и пр. В чем-то, конечно, здесь обнаруживается и стремление к эпопейности [1], но, в общем, все это не что иное, чем невероятно развернутая по масштабу *риторическая* по своей основной структуре *проповедь*, в которой реальность сводится к *притче*, а художественный образ – к иллюстрации. Здесь Мережковский, как совершенно очевидно, опирался на «учительную» традицию древнерусской литературы, которая особенно живо ощущалась им в пору контактов со старообрядцами.

Но, вместе с тем, ситуацию нельзя целиком свести к традициям христианской словесности, основанной на Библии. Здесь проповедь, учительство налагаются на активизированный в западноевропейской литературе со времен романтизма фольклорно-мифологический алгоритм отождествления Поэта с Прорицателем, которые в свою очередь являются модификациями архетипа Мага («вещие поэты», таинственный «мед поэзии» и пр.). Эти языческо-фольклорные корни ситуации на русской почве не оказались столь уж ощутимыми, но все же модель прижилась: от Пушкина и Лермонтова до Брюсова и

В. Иванова не прекращается отождествление Поэта с Пророком, хотя как бы уже не языческим, а библейским. Иными словами, весьма похоже, что мифологема Вещего Певца стала тем магнитным стержнем, вокруг которого держалась вся человеческая и литературная личность Мережковского, и стала в его сознании постоянным побуждением к титаническому действию.

Н. Берберова пишет, что Мережковскому в самом деле была присуща «пророческая сила, проявлявшаяся как в писаниях, так и в речах. Особенно она проявилась в «Царстве Антихриста», где он говорит об угрозе в будущем русского большевизма западному миру <...> В наше время мы опять видим появление такого «особенного» человека и слышим его мировой голос. Он знает, что он видит будущее и уверен, что он один знает его» [12, с. 339]. Даже сама колючая Гиппиус тут перед своим супругом, бывало, тушевалась: «... она понимала, «что от некоторых слов его, от некоторых его замечаний или идей чуть ли не кружилась голова, и вовсе не потому, чтобы в них были блеск или остроумие, о, нет, а оттого, что они будто действительно исходили из каких-то недоступных и неведомых другим сфер. Как знать, может быть, бездны и тайны были для него в самом деле родной областью, а не только литературным приемом?» [3, с. 60].

Думается, что Мережковским и Гиппиус, невзирая на их репутацию «мыслителей», двигали в конечном итоге все же не столько логические соображения, сколько эмоционально-поэтический порыв. Они поэтизировали все: религию, историю, политику, поэтизировали самих себя в контексте всего этого. При этом оба относились крайне взыскательно именно к поэтическому вдохновению.

Мережковских, этих типичнейших русских интеллигентов, интересовала в первую очередь *возможность серьезного, практического писательско-поэтического воздействия на реальность*, но основным импульсом их собственной деятельности в культуре был сугубо поэтический по своей природе порыв, так много значивший в сознании человека Модерна: они ведь стремились ни более, ни менее, как переустроить мир.

При такой выпренности духовного взлета и размахе метафизического пространства требовалась бравурная стилистика. Язык реалистов, «стертый, как плиты тротуара» (Флобер), Мережковскому явно не подходил. Весьма показательно изменение отношения Мережковского к Чехову, который к подобным вещам относился саркастически. Поздний Мережковский говорит о Чехове с явным оттенком застарелой обиды, а когда речь заходит о росте чеховского авторитета, то и с подчеркнутой брезгливостью, обвиняя классика в капитуляции перед действительностью (речь идет о чеховском реализме) и в том, что с него в литературе начался «дурной запах» [15, с. 324]. Некогда Мережковский, как известно, пытался «завербовать» Чехова в ряды символистов, чувствуя под его натурально-реалистической образностью напряженное пульсирование символизации. Еще молодым писателем он почтительно обратился к мэтру: «...хотелось поскорее разрешить вопросы о смысле бытия, о Боге, о вечности. И я предлагал их Чехову как учителю жизни. А он сводил на анекдоты да на шутки» [16, с. 49-50]. Отсюда и эта неизжитая за десятилетия досада.

Испытавший в молодости некоторое воздействие романтическо-народнических идей, Мережковский рвался служить обществу, но не «малыми делами», а так, чтобы выходило значительно, красиво и даже немного театрально. Но «общественное служение» с самого начала приобрело своеобразное направление. Здесь не место подробно распространяться о духовной жизни писательской четы – она, в общем, хорошо известна. Скажем только, что диалоги с Русской Церковью, которые затеяла чета Мережковских в рамках Религиозно-философских собраний, отчетливо показали расхождение с ортодоксальным христианством. К тому же в задекларированном «богоискательском» проекте не захотели, как рассчитывали Мережковские, принимать участия художники-эстеты вроде А. Н. Бенуа, и сюда начали приходиться по преимуществу либеральные клирики, русские протестанты и пр. Но собрания «богоискателей» были, в конце концов, запрещены; при Мережковских остался на какое-то время один Д. В. Философов.

Не следует считать все это совершенно пустой умственной игрой. Все переживалось всерьез и делалось всерьез. Г. Адамович вообще считает, что именно Мережковский «открывал Европу» раньше Брюсова и первым задумался о причинах упадка русской литературы [2]. Важно отметить, что порыв Мережковских к преобразованию жизни развертывался в совершенно определенном формате, вовсе не уместаясь, скажем, в масштаб «народнического влияния». Вот и попытка Мережковских создать «новую церковь» объективно была отголоском Реформации, а стремление к обновлению христианства мыслилось, по сути, в первую очередь, как великое обновление литературного слова. С другой стороны, свести позицию Мережковских к влиянию одного лишь «протестантского» фактора нельзя. Типологически все это очень близко еще и к такому порожденному духом Контрреформации явлению, как «обращение Шатобриана», противопоставившего своему веку, все более явственно обнаруживающему меркантильное лицо, «гений христианства»: в одноименном трактате этот поэт-романтик прямо берет под защиту христианскую веру, которую стремилась разрушить революционная буря. Да, собственно, и сама идея «Третьего Завета» восходит к католическому мыслителю Иоахиму Флорскому. Примешивалось сюда и ощущение неотвратимости социальной революции, грядущего ужаса разрушения. Но разве среди православной интеллигенции того времени не наблюдалось подобных устремлений? Прав был Н. Бердяев, заметивший: «Мережковский очень пугает ортодоксальных православных своей новой религией третьего Завета. Но, в сущности, он стоит на той же ортодоксально-догматической почве, что и Булгаков, что и свящ. П. Флоренский и многие другие. Его религиозное сознание должно быть отнесено к трансцендентному типу религиозной мысли. Он принимает экзотерически-догматическое христианство, но с меньшими правами и основаниями, чем Булгаков или Флоренский» [6, с. 10-12].

И, при всей очевидной малости и не-результативности реформаторских усилий Мережковских, разве эти претензии на вселенское учительство не были, по сути своей, чем-то иным, нежели проявлением веры в особое предназначение интеллигенции? Недаром именно в эту пору русское слово «интеллигенция» выходит за пределы обитания русского народа и появляется, скажем, в Британской энциклопедии. А параллельно в русском символизме восстанавливался культ Поэта как *Тайновидца* и *Пророка* (Брюсов, В. Иванов и др.), незримыми нитями связанный, конечно, еще и с автором романтического призыва «глаголом жечь сердца людей» (хотя Пушкин и был, как известно, в глазах В. Иванова «слишком румян»). Словом, сознание Модерна диктует человеку: *будь титаном!* И вот уже, цитируя В. Соловьева, Мережковский вопрошает современную ему Россию:

О Русь! В предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята,
Каким же хочешь быть Востоком –
Востоком Ксеркса иль Христа?

В формировании этого «титанического» сознания не последнюю роль сыграл и «квартирный вопрос». Казалось, сам уже *genius locum* предопределил горячее стремление Мережковских участвовать в политических бурях современности. Н. Берберова пишет о З. Гиппиус: «... она знала всех, кто тогда был на верхах России, и не просто была знакома, а знала их годами, особенно тех, с кем у нее было хотя бы некоторое относительное единство идей. Вторая причина – вполне прозаическая: если мы взглянем на карту Петербурга, то мы увидим, что З. Н. и Д. С. жили рядом с Государственной Думой, и к ним доходило то, что делалось в центре России не по слухам, или на второй день, а так, как если бы они находились за кулисами сцены или может быть сидели в первом ряду театра. Сегодня Милуков говорит о Распутине, завтра Керенский требует политической амнистии, послезавтра левая часть депутатов предает гласности дело военного министра Сухомлина, а еще через год или два – с этой же трибуны объявляется отречение Николая II. Дом стоял на углу Сергиевской и Потемкинской, в окнах квартиры был виден купол Таврического дворца, гараж думских автомобилей был за углом, и у заседавших там денно (и ночью!) государственных людей не было другого пути из Таврического сада к Литейному и центру

столицы, как Сергиевская улица (более долгий путь шел по Таврической улице к Суворовскому проспекту) [12, с. 336].

Случай и вправду реализовать свои концепции и претензии предоставил Мережковским 1917 год. Сперва их как бы и увлекла стихия русской революции, они живо интересовались личностями ее вождей: им, как и близкому тогда к ним Блоку, представлялось, что огонь революции скрыто подпитывается христианским сознанием. По замечанию той же Н. Берберовой, чуть ли не все видные деятели Февральской революции – личные знакомые или близкие друзья Мережковских [12, с. 335]. В 1918 году у них почти каждый вечер бывает Керенский, и хозяева активнейшим образом пытаются воздействовать на его политическую линию. Но оказывается, что Керенский, хотя и знатный оратор, увы, на «пророка» не тянет: «Керенский – не так хитер и ловок, недалновиден. Внезапным, большим страхом, помутняющим зрение, одним страхом за себя и свое положение, – опять невозможно объяснить всего. Я решаю, что тут была сложность всех трех импульсов: и безумия, и расчетливого обмана, и страха. Сплелись в один роковой узор, и были покрыты тем «керенским вдохновением», когда человек этот собою уже не владеет и себя не чувствует, а владеет им целостно дух... какой подвернется, темный или светлый. Нет, темный, ибо на комбинацию истерики, лжи и страха светлый не посмотрит. И дух темный давно уже ходит по пятам этого потерянного «вождя»» [10, с. 298].

Но после октябрьского переворота Мережковские отчетливо понимают, что в новой стране их проповеди слушать не станет, и даже более того.... Тем не менее, имидж учителя используется ими даже для мотивации тайного бегства. Под удивительным предлогом «чтения лекций красноармейцам по истории и мифологии древнего Египта» (похоже, то ли юмор не изменял им никогда, то ли кем иным, нежели «учителями», они и помыслить себя не могли), супруги покидают в 1920 г. Петроград, тайно переходят линию фронта и некоторое время живут в Польше. Здесь они не размениваются на мелочи: уговаривают Ю. Пилсудского не заключать мира с большевиками, разворачивают пропаганду «крестового похода» против них. Но, наткнувшись на вежливое уклонение от диалога, Мережковские окончательно перебираются в Париж.

Парижский дом Мережковских – настоящее символическое обобщение коллизии, о которой здесь идет речь. На берега Сены переносится все, что так энергично созидалось и насаждалось на берегах Невы. Можно было счесть за тайный знак и то, что квартира эта, как и петербургская, была расположена в самом сердце французской столицы. И. Одоевцева уточняет: «Квартира была снята Мережковским еще задолго до войны, чтобы во время приездов в Париж не приходилось – «Ведь это так неудобно» – жить в отеле. «И как она теперь пригодилась! Ведь в Париже квартирный кризис. Что бы мы стали делать, если бы у нас ее не было?» Берберова: «Они жили в своей довоенной квартире, это значит, что, выехав из советской России в 1919 году и приехав в Париж, они отперли дверь квартиры своим ключом и нашли все на месте: книги, посуду, белье. У них не было чувства бездомности, которое так остро было у Бунина и у других» [11, с. 377]. Н. Берберовой вторит Ю. Терапиано: «В беженском положении эта квартира оказалась для Мережковских подарком судьбы: сохранилась библиотека с дореволюционными книгами и журналами, а также архив, в котором, разбирая его по временам, они находили много любопытного» [11, с. 400].

Какое-то время супруги жили здесь в относительном благополучии, хотя Нобелевской премии, на которую Мережковского 10 лет подряд регулярно номинировали, ему все же так и не присудили. Пришлось жить в основном на сербскую и чешскую субсидии. Н. Берберова вспоминает: «Пособие составляло приблизительно 300 франков в месяц на человека. Другая сумма, тоже около 300 франков, приходила тем же лицам из Праги, из собственных сумм президента Масарика. На 600 франков в Париже в те годы прожить было нельзя, но они могли покрыть расход по квартире, по электричеству, газу, метро. Этого было не много, но это было хоть что-то» [12, с. 333]. Учитывая добавочно кое-какие гонорары, можно было жить сносно и даже развернуть свою заветную программу.

Ю. Терапиано вспоминает: «Каждое воскресенье (я познакомился с Мережковскими в мае 1926-го года), вплоть до трагической весны 1940 г., за исключением отлучек Мережковских из Парижа, от 4 до 7 часов пополудни у них происходили традиционные собрания писателей <...> [11 с. 400]. «Квартира Мережковских в Париже в течение пятнадцати лет была одним из средоточий эмигрантской культурной жизни. На «воскресенья» у Мережковских собирался русский интеллектуальный Париж. «Иногда Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна рассказывали о прошлом – о литературной их жизни тех времен, о людях – Розанове, Сологубе, Блоке, Андрее Белом и т. д. Для большинства «зарубежного поколения» петербургский период был уже сказочной страной, и молодежь очень любила слушать такие рассказы» [11, с. 401].

Но к одним воспоминаниям дело вовсе не сводилось: «Мережковские решили создать нечто вроде «инкубатора идей», род тайного общества, где все были бы между собой в заговоре в отношении важнейших вопросов -- «воскресения», и постепенно развить внешний круг «воскресений» -- публичные собеседования, чтобы «перебросить мост» для распространения «заговора» в широкие эмигрантские круги» [11, с. 402].

Новое жилье сразу же, конечно, мыслится как некий штаб духовного воительства, центр управления общественным мнением, чья деятельность должна быть наставлением «властителям и судиям». Силы были собраны немалые: от Бунина и Бердяева до Ремизова и Тэффи. И масштаб этим заседаниям первоначально задан был достаточно грандиозный: речь шла ни более, ни менее, как о спасении Европы и культуры. Таких интеллектуальных ристалищ в квартирном масштабе, пожалуй, и в самом деле не знала новейшая история – счет собравшимся сначала шел буквально на сотни. Обэтом свидетельствует И. Одоевцева: «Все они, вместе с Гиппиус и Мережковским, Адамовичем и Оцупом, сливаются в одну картину. Ее надо непременно запомнить. Ее нельзя забыть. Ведь это одно из самых интересных и значительных событий, что сейчас происходит в эмиграции, — «воскресенье» на рю Колонель Боннэ». Этого показалось мало: вскорости, во второй половине 20-х годов в парижской квартире Мережковских открывается еще более открытое общество «Зеленая лампа»; здесь собиралось до нескольких сот человек» [17, с. 39].

Но грандиозность замысла как-то стушевывалась, когда чей-нибудь особенно внимательный взгляд и слух улавливали некое несоответствие между тем, что планировалось получить как результат и тем, что выходило на самом деле, в реальности.

У той же И. Одоевцовой в описании жилья Мережковских звучат нотки как бы некоторого сострадания: «Вполне буржуазный дом, вполне буржуазная, хотя и очень скромная и безвкусно обставленная, квартира с многотомной библиотекой. Мережковский всегда и всюду первым делом обзаводился библиотекой. Он не мог и дня прожить без книг. В разговоре он постоянно цитировал древних и средневековых авторов. Его недаром называли «полководцем цитат» [11, с. 37].

Обратимся к книге З. Н. Гиппиус «Литературный дневник». Здесь в центре памяти, конечно, Д. С. Мережковский, которому посвящено немало страниц, но мы вынуждены оставить все эти глубокие и пронизательные наблюдения за рамками данного исследования. Если же обратить внимание хотя бы на то, как З. Гиппиус воспринимает собственное жилье, то здесь тоже обнаруживается немало любопытного.

В первую очередь, мы убеждаемся в справедливости наблюдения А. Лаврова, отметившего, что в казусе Гиппиус мы сталкиваемся с некоей внутренней цельностью писательской личности: здесь «стихи, художественные проекции авторской индивидуальности, не противопоставляются сугубо биографическим документам, а предстают как естественное продолжение записных книжек, дневников, писем как ее настоящая автобиография, наиболее полно и глубоко обнажающая суть личности» [14 с. 6]. И в мемуарах ее, при всей крайней аскетичности стиля, звучит все та же тайная лирическая мелодия плача об утекающем времени.

При этом к быту как таковому Мережковские были достаточно безразличны; их эмигрантская квартира в Париже, оформленная некогда в стиле модерн, это решительное

demode, вообще не отразилась в их мемуарах. Единственное более-менее развернутое и даже почти открыто согретое душевным теплом описание интерьера у З. Н. Гиппиус встречается только в самом начале повествования «Литературного дневника», когда автор вспоминает их первую с Мережковским петербургскую квартиру: «Приехав утром, Д. С. не повез меня сразу в нашу квартиру, хотя она была готова до последних мелочей, и я ее, по рассказам Д. С., уже хорошо знала. Устроена она была, конечно, с участием матери Д. С., ею была нанята и прислуга. Но Д. С. не хотел показывать мне эту квартиру в мутное петербургское утро, кроме того, днем он хотел поехать на Знаменскую к матери. Поэтому мы взяли номер в «Северной» гостинице, против Николаевского вокзала. Там я до вечера могла отдохнуть после дороги <...> Квартирка была очень мила. Ведь так приятно всегда вдруг очутиться среди всего нового, чистого и блестящего. Очень узенькая моя спальня, из которой выход только в мой кабинет побольше (или салон), потом, на другую сторону, столовая, по коридору – комната Д. С., и все. Ванны не было, но она была устроена на кухне, за занавеской. Мне понравились цельные стекла в широких окнах. У меня были ковры и турецкий диван. Помню лампу на письменном столе (керосиновую, конечно, как везде) – лампу в виде совы с желтыми глазами <...> Было тепло, уютно, потрескивали в каждой комнате печки. Марфа отворила нам дверь (она была солидная, и я ее сразу стала немного бояться), подала самовар. И тут все новое, незнакомое, – приятное. И я принялась разливать чай... <...> Д. С. был очень горд своим устройством (воображаю, как бы он справился без матери), и доволен, что все это мне нравится. Ведь он даже добыл откуда-то рояль (он знал, что я привыкла играть) – должно быть мать отдала свой. Он был не новый, но хороший, длинный...» [8, с. 219-221]. Далее воспоминания о жилье сводятся к аскетически сухой информации: «Квартиру на Верейской мы решили оставить, найти другую, а эту пока брал отец С. И., -- дочь Елизавета, кончив институт, должна была переехать к нему, и тут же проектировалась, и ее свадьба» [8, с. 230]. «Квартиру для будущей зимы мы скоро нашли, в том громадном доме на углу Литейного и Пантелеймоновской, известном как «дом Мурузи». Квартира была на пятом этаже, но просторнее Верейской. В этом доме мы потом, в разных квартирах, жили много лет. Предстояло нам, по пути на юг, нанять около Москвы и дачу на лето, где бы поместились мы – с моей семьей» [8, с. 231]. «Март кончался. В апреле мы с печалью покинули нашу просторную квартиру, отдав в склад незамысловатую мебель, книги, бумаги, кое-какие письма, и уехали из Парижа. Сначала, ненадолго, на берег океана, потом, через Германию, в Россию [8, с. 338]. «Осенью мы должны были переехать на нашу старую квартиру, но без сестер: они, с Карташевым, взяли себе другую, отдельную» [8, с. 339]. «Квартирка скоро была найдена – в Пасси, в новом доме, не очень приятная, мало удобная для троих, зато очень дешевая: я даже решила, что буду платить за нее сама (я тогда хорошо зарабатывала в России). Кстати: после войны цена ее возросла в 14 раз» [8, с. 347]. «Взяли квартиру первую попавшуюся: очень большую, на Сергиевской, у самой решетки Таврического сада. С моего балкона виден был и соседний Таврический дворец, где помещалась Государственная Дума...» [8, с. 350].

Соседство с Думой, похоже, служило для Гиппиус источником некоего энтузиазма. В ее изложении квартира Мережковских в 1917 году и вправду создает впечатление какого-то тайного политического штаба: сюда, как уже говорилось, фактически ежедневно заезжает А. Ф. Керенский – для бесед, которые в изложении Гиппиус начинают неуловимо приобретать характер наставлений. Н. Берберова, вспоминая об этом, совершенно права: текст З. Гиппиус изобилует упоминаниями о значительных историко-политических обстоятельствах и лицах ранга Керенского, фигурирующих в качестве гостей Мережковских. Впрочем, даже будучи в эмиграции, они пытаются наставлять, к примеру, самого Пилсудского и вообще зарубежную общественность. При этом с откровенной досадой исторгнутого из привычного комфорта человека описано жалкое жилье, в котором им пришлось квартировать в той же Польше, и негодование повествователя дает старт довольно развернутой панораме, мало напоминающей беглые упоминания о прежнем жилье (к слову, Гиппиус не стесняется постоянно акцентировать «еврейский колорит» ситуации): «Поздно

вечером Диме и Володе дали маленький номер в конце холодного и вонючего коридора. Мы с Д. С. остались в этом, первом номере (42), выходящем на лестницу <...> В нем, в комнате с двумя кроватями у двери, с грязным умывальником и единственным столом, с окнами на шумную еврейскую улицу со скрежещущим трамваем, с криками евреев за тонкой стеной в коридоре, где как раз висел телефон, мы прожили с Д. С. больше двух месяцев. Здесь же мы готовились к нашим лекциям, здесь писали и книгу (поочередно, так как стол один), здесь принимали и толпу разнообразного народа – русских, поляков, интервьюеров, послов, людей всех направлений и всех положений» <...> «Я – в большой комнате, на улице, на противоположной стороне густые, душистые купы деревьев Саксонского сада. (На улице, к сожалению, опять скрежещущий трамвай.) Но высоко – ужасная лестница! – а потому не так шумно. Комната – бывшая гостиная бывше-богатых евреев. Ломберный стол посередине, где еврейская горничная, рыжая Маня, вечером дает нам простоквашу и вареники, а днем я разливаю чай из толстого чайника и умоляю гостей не облакачиваться на стол. (Оссовецкий, в конце концов, таки свалил все и разбил чайник.) <...> В углу маленькая проваленная кроватка с красной периной, – я ее утром убираю, закрываю ковром, его дала мне дочка, миленькая Мальвина <...> Дмитрий – в небольшой комнатке напротив, через переднюю. У него такая же кровать (обе с клопами), оттоманка и... письменный стол. Но темновато, а у меня солнце целый день» [8, с. 397-405]. Все это, однако, не столько непосредственное излияние эмоций, сколько обдуманно отобранные реалии, призванные подчеркнуть лишения эмигрантского существования и значительность людей, которые это унижение переносят.

Ситуация вполне вписывается в «большой» историко-культурный контекст: варваризирующаяся эпоха, осознавшая силу и неодолимость иррационалистического порыва, требовала вождей-прорицателей, и они не замедлили явиться; иные успели, между прочим, создать несколько систем секулярных религий, которые до сих пор находят своих приверженцев. Роль, так сказать, Данко, ведущего к Светлому Будущему, поочередно играют Керенский, Ленин, Муссолини и Гитлер; их иррационалистическая экзатичность становится в глазах толпы сигнификацией силы. Именно такого вдохновения Мережковские, эти «ловцы человеков», ожидали и от тех, с кем избирательно и доверительно общались, хотя дело, как правило, ограничивалось разочарованием. Тем не менее, как свидетельствует Н. Берберова, назвать так обоих Мережковских все же нельзя: «Д. С. всю жизнь интересовался книгами, идеями и даже фактами (правда не личными фактами отдельных людей, но фактами общественно-историческими) гораздо сильнее, чем самими людьми. З. Н. – наоборот. Она каждого встречного немедленно клала, как букашку, под микроскоп, и там его так до конца и оставляла. Конец мог быть ссорой, или расхождением, или вынужденной разлукой, или «изменой» (не ее, своих измен она никогда не признавала, «изменяли» ей) [12, с. 335].

Насчет коммунистического строя и его идеологии сомнений у Мережковских не было никаких. Не так, не так изменяют мир! На оставленную родину излилась вся полнота неприятия: *Что доброе исходило когда из Назарета?* Особенно пристрастна была, по свидетельству Н. Берберовой, З. Гиппиус: «... даже открытие Дома искусств (с помощью Горького), где писатели, и поэты, и художники могли наконец в 1920 г. обогреться зимой, встречаться, говорить в чистых комнатах о стихах, есть пшеничную кашу в елисейской кухне, было воспринято ею, как космическое (или всероссийское) безобразие, бесстыдство и мерзость» [12, с. 338].

Успех необычной проповеди Мережковских оказался, увы, недолог, о чем откровенно и развернуто пишет Н. Берберова: «Мережковского сначала слушали тысячи, – пятьдесят лет его лучшие книги были в печати, переведенные на 14 языков от Португалии до Японии. Это были обе трилогии – «Воскресшие боги» и «Александр Первый и декабристы». Потом его стали читать сотни. Его перестают принимать и слушать короли, президенты республик, главы государств и римский папа. И в 1930-х г.г., в зале Лас-Каз, в Париже, рассчитанной на 160 слушателей, где обычно происходят русские собрания, рядом с церковью св. Клотильды, у метро Сольферино, на его вечер (лекцию) собирается сорок человек, почти все ему лично знакомы. И он, картавя, как Ленин, как Лев Толстой, как Николай II, вдохновенно пророчит,

что они не только наша проблема, но они и ваша проблема, и через двадцать, через пятьдесят лет она встанет перед вами» [12, с. 339].

Как пишет Л. Гинзбург, «... в бессвязном обществе успех бывает бессвязен. Так что успех сам по себе, а человек сам по себе» [7, с. 283]. В случае с Мережковскими успех уплыл, а люди остались. Наедине с проблемой выживания.

Материальное благополучие Мережковских оказалось, в конечном итоге, хлипким. Тэффи вспоминает: «Их денежные дела были очень плохи. Из Парижа шли вести, что их квартиру хотят описывать за неплатеж. Вот уж действительно, никто не посмеет сказать, что Мережковские «продались» немцам. Как сидели без гроша в Биаррице, так и вернулись без гроша в Париж» [11, с. 393].

Преимущество, которое получили было Мережковские перед «нищими эмигрантами» вроде А. Куприна, на глазах истаивало; авторитет у поклонников иссякал, поддержки уже никто особенно и не предлагал. Пришло то, что неизбежно приходит к вдохновенным романтикам и борцам с мировым злом: оно разворачивалось во все более исполинских масштабах, сверкая драконовой чешуей, но у рыцарей-змееборцев уже не было сил бороться с ним.

Окружение их постепенно рассеялось. Н. Берберова пишет: «Потом мне кажется, что я все получила от них, что могла получить, что мне видно их «дно», и я на несколько лет отхожу от них и во время войны опять возвращаюсь, когда вокруг них в Париже остается так мало людей. Но я уже не вхожу в гостиную и не сажусь с ней на диван. Я поднимаюсь по черной лестнице, вхожу в кухню и долго смотрю, как Злобин моет посуду, скребет кастрюли, вытирает вилки и ножи. И мы с ним тихо разговариваем. Там, в гостиной, очень холодно, и Д. С. лежит, укрывшись пледом, а она сидит с ним, и я боюсь потревожить их» [11, с. 384].

Старость и усталость брали свое. Та же Зинаида Николаевна, характер которой все менее сдерживался условностями, досаждала слишком многим, и Г. Адамович в заметке о ней, как бы юмористически, а, по сути, без обиняков, назвал метрессу символизма в эмигрантском ландшафте «ведьмой» [11, с. 388]. Впрочем, в этом беглецы из Советской России не были столь уж оригинальны. И. Эренбург в своих мемуарах «Люди. Годы. Жизнь» вспоминал, как дивились парижане необычной, шокирующей внешности сильно постаревшего, но все еще эпатажного Бальмонта.

Почти незамеченной прошла, и кончина обоих Мережковских.

Н. Берберова вспоминает: «...его хоронили по православному обряду, что тогда удивило многих» [12, с. 338]. Но эта последняя ниточка, связавшая покойного с русской православной соборностью, была щемяще тонкой.

Если подвести итоги ситуации, то окажется, что в глубинной основе ее кроется не только один из архетипов древнейшего коллективного бессознательного индо-европейских народов: высшая варна – это брахманы, т. е., еще не разделившиеся на отдельные группы мудрецы, священники, поэты [13], и лишь за ними следует варна кшатриев – воинов, царей и правителей. Что нашло свою параллель и в средневековой русской культуре: за библейский лозунг «Священство выше царства!» отдает жизнь митрополит Филипп, обличивший Грозного в духе ветхозаветного пророка. Общеизвестна и судьба ревнителя старообрядчества Аввакума. А речь, в то же время идет об осознании и осмыслении христианства «золотым веком» русской литературы (Н. Гоголь, Л. Толстой, Ф. Достоевский...), что и предопределило экзистенциальный поиск с разочарованиями и надеждами в наступившем «новом мире» наступившего XX столетия уже не только русских поэтов.

При этом трогательна и характерна для России древняя модель: «Поэт, наставляющий властителя!» Вспоминается весьма длинный и впечатляющий ряд. Здесь и попытки юродивых напутствовать московских царей, и ломоносовские оды-рекомендации или же «уроки царям», с улыбкою произносимые Державиным, и кротчайший Жуковский, воспитатель царевича, и литературная деятельность декабристов, «разбудивших», как известно, Герцена, и стоическое упрямство Чаадаева, и пушкинские «Стансы» ... и так далее.

Вплоть до щедринского Орла, в ключья разорвавшего приставучую Сову, назойливо обучающую его, Орла, – по его же просьбе! – грамоте.

Роль Орла по отношению к Мережковским сыграла сама реальность. Впрочем, она обошлась с ними вполне милостиво. Так в другом щедринском сюжете Орел «прощает» мышь, попавшую к нему в когти.

Тем не менее, сравнение с мышами в данном случае следует снять. Эти люди жили уж никак не в «норе», скорее на некоем космическом сквозняке. А их жилье, как петербургское, так и парижское, – все же не стало «тихой заводью», домом в исконном значении этого слова. Их быт зиждился на сейсмоопасном основании, а жилье неизменно становилось в первую очередь духовным пульсаром, штабом организации общественных движений, да еще и как бы зависшим в междумирии. И трудно назвать это существование благополучным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамович С. В поисках утраченного рая: Духовное самоопределение русского писателя XIX — начала XX ст. Монография. К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2009. 264 с.
2. Абрамович С. Библейская метаистория в нарративной прозе Чехова / Семен Дмитриевич Абрамович: монография. К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2016. 134 с.
3. Адамович Георгий. Сомнения и надежды / Сост., вступит. ст. и коммент. С. Федякина. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 448 с.
4. Андрущенко Е. А. Д. С. Мережковский о Монтене / Елена Анатольевна Андрущенко // Вопросы философии. 2006. № 9. С. 118 – 120.
5. Андрущенко Е. А. Об одном из случаев функционирования «чужого» слова / Елена Анатольевна Андрущенко // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 3. Кам'янець-Подільський: Вид-во КіПНУ, 2011. С. 11-16.
6. Бердяев Н.А. Новое христианство. Сборник статей 1916 – 1917 гг. / Н. А. Бердяев. М. Берлин: Директ-Медиа, 2015. 161 с.
7. Гинзбург Л. Человек за письменным столом. Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. / Л. Я. Гинзбург. Ленинград: Советский писатель. Ленинградское отделение, 1989. 698 с.
8. Гиппиус З. Н. Собрание сочинений. Т. 6. Живые лица: Воспоминания. Стихотворения. М.: Русская книга, 2002. 704 с.
9. Гиппиус З. Н. Собрание сочинений. Т. 7. Мы и они. Литературный дневник. Публицистика 1899 – 1916 гг. М.: Русская книга, 2003. 528 с.
10. Гиппиус З. Н. Собрание сочинений. Т. 8. Дневники: 1893 – 1919. М. Русская книга, 2003. 576 с.
11. Гиппиус З. Н. Собрание сочинений. Т. 9. Дневники: 1919 – 1941. Из публицистики 1907 – 1917 гг. Воспоминания современников / Сост., примеч., указ. имен Т. Ф. Прокопова. М.: Русская книга, 2005. 560 с.
12. Гиппиус З. Н. Собрание сочинений. Т. 15. Белая дьяволица: З.Н. Гиппиус в критике. Воспоминания современников. Сост., подг. текста, коммент. ук. имен А. Н. Николукина и Т.Ф. Прокопова / Институт научной информации по общественным наукам РАН. М.: Изд-во «Дмитрий Сечин», 2012. 688 с.
13. Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев / Жорж Дюмезиль / Пер. с франц. Т. В. Цивьян. М.: ГРВЛ «Наука», 1986. 234 с.
14. Лавров А. В. Русские символисты: этюды и разыскания. / А. В. Лавров. М.: Прогресс-Плеяда, 2007, 632 с., 64 илл
15. Мережковский Д. Акрополь. Избранные литературно-критические статьи / Дмитрий Мережковский. М.: Книжная палата, 1991. С. 227 – 246.
16. Мережковский Д. С. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет / Дмитрий Сергеевич Мережковский. М.: Сов. писатель, 1991. 496 с.
17. Одоевцева И. В. На берегах Сены / Ирина Одоевцева. М.: Художественная литература, 1989. 333 с.

Burago D. Prophetic annunciation on the banks of the Neva and Seine Merezkovsky and Gippius in the memoir literature.

The article deals with the social activity of the Merezkovsky couple in emigration and its reception by the emigrant society. The Merezkovskies perceived that activity as a mission and the embodiment of the Third Testament thinking about the renewal of the Christian tradition. The author gives a detailed analysis of the autobiographical sources and the memoirs by the Merezkovskies which are at our disposal in considerable amount and are sufficiently considered by critics. In spite of this fact there are some unclear aspects, for instance, the concept of Teacher «who is searing the hearts of men with righteous word», the problem of Poet and Society and etc.

The author of the article comes to conclusion that it is worse speaking about their “poetic burning of spirit” regardless of the fact that the general tendency is to perceive them as weak men of letters.

«Preachment» by the Merezkovskies is frequently ignored. This rich and dramatic material is often used in the frame of studies of their artistic biography and as an illustration of the historical events, though it vividly and precisely depicts the great panorama of the pre- and post-war social and spiritual turmoil in the Russian society as well as the ruined lives of cultural figures.

The article is of great help to lectures who prepare courses of Russian literature of the abovementioned period. It is also of interest to students and other researches whose activities are connected with the study of the life of this period.

Key words: writer's mission, the Third Testament, home, dwelling, the Christian tradition.